

Лаура Миллер

СМЫСЛ ЖИЗНИ

**(два автора объясняют секреты философии
обычному читателю, но чья книга лучше?)**

(Miller L. www.salon.com/books/feature/2001/03/23/philosophy/print.html)

Этот очерк представляет собой рецензию на несколько книг, в которых преподнесение философии осуществляется со значительной долей «приближенности» философии к «реальной» жизни. Любопытной является их оценка в сопоставлении с книгой Рассела «История западной философии».

В начале своей в общем-то умеренной в выражениях книги *Кафе Сократа* Кристофер Филипс раздраженно замечает по поводу «философов прошлого, которые считаются академией не подлежащими обсуждению исключительными членами философского пантеона». В книге, в которой все дети полны драгоценного «удивления», а взрослые граждане «необычно задумчивы», и даже самые колочие и антисоциальные индивиды постоянно возвращают важные мысли, высокомерные академические философы и профессора философии безусловно являются плохими парнями.

Больше того, их речи просто непостижимы. Аспирант, который разговаривает с Филипсом после одной из дискуссий, ведущихся автором в кафе, общественных центрах, школах и других сборищах, с отворачиванием говорит о заброшенной им диссертации, написанной на «академическом мумбо-юмбо. Я уверен, что моим профессорам она понравилась бы, но я ненавижу себя, пока писал ее... они воображают себя философами, но они не являются таковыми на самом деле. Я думаю, что совершаемое некоторыми из них под именем философии является просто преступлением».

Подобно большинству выпадов против академии в трактате Филипса, имеющим целью «скорее несерьезную попытку изъять философию из университетов и вернуть ее народу», эти обличения никогда не исходят от самого автора напрямую. Вероятно, причина этого состоит в том, что, как замечает сам Филипс, в дополнение к своей философ-

ской активности, он выманивает весьма творческим образом кое-какие деньги из академического мира. Но как показал Платон, один из самых лучших способов распространения ваших идей состоит в том, чтобы вложить их в уста других, и кроме того, книга *Кафе Сократа* содержит слишком много выстрелов из-за угла по замку из слоновой кости, так что Филипсу трудно притворяться простым наблюдателем. И нельзя винить его за это: большая часть академиков действительно пишет на непроницаемом жаргоне, и больше того, слова о выводке «академических философов», которые сбились на одной из его дискуссий, подобно девчонкам на задних партах, звучит настолько ужасно, что может довести до паранойи и лени.

По большей части Филипс полагает, что академические философы (на самом деле, он никогда не называет имен), отвращает людей от того, что У. Джеймс называет «наиболее земными и наиболее тривиальными человеческими предприятиями». Филипс называет себя «Джонни Эпплсид философов»¹²⁷. Поддается ли «народ» обману? Кажется, да, по крайней мере, в малом масштабе. Десять недель после того, как Филипс начал свой проект кофейни в Монтклере, Нью-Джерси, его сотрудники привлекали около 40 человек каждую неделю. Однако не каждый человек осмеливается разрешать вопросы смысла жизни на уровне собрания, и к счастью, никто не должен выбирать между дискуссионной группой и миром университетских мандаринов из философских департаментов. Другие искатели мудрости удовлетворяют свое любопытство по поводу философии различным образом: например, с помощью книг.

В 1991 году норвежский школьный учитель Джойстейн Гаардер написал весьма любопытную, но приятную (в высшей степени рекомендуемую) книгу Роман об истории философии, под названием *Мир Софии*, в которой через сюрреалистические приключения его юной героини, читатель получает изящный курс основ истории философии. Книга стала международным бестселлером. Алан де Боттон недавно был гостем популярной британской телевизионной серии по философии (хотя его книга основана на шоу *Утешение философией*, опубликованная в прошлом году, оказалась менее удачной, чем его предыдущая книга *Как Пруст может изменить вашу жизнь*).

¹²⁷ Джонни Эпплсид – житель США, ставший впоследствии фольклорным персонажем, христианский миссионер, а также «сельскохозяйственный энтузиаст». (В.Ц.)

Таким образом, несмотря на то, что говорят консервативные сторонники Иеремии, многие люди стремятся понять основные события и идеи западной цивилизации; достаточно указать на монументальную книгу Жака Барзуна *От Восхода до Заката: 500 лет западной культурной жизни, 1500 лет до настоящего времени*, которая находится в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс последние несколько недель. Издатели книги Готтлиба *Мечта разума: история философии от греков до Возрождения*, без сомнения, ожидают подобного успеха (она даже похожа на книгу Барзуна). Первый том предполагаемого двухтомника (водоразделом является Декарт) кристально ясен, написан в разговорном тоне, фундаментально скептичен – в современном смысле слова. На самом деле, она гораздо более доступна, чем книга Барзуна, с ее загадочно иносказательным тоном. Всякий, кто потеряется в море этой исторической эрудиции, найдет более прочные основания у Готтлиба.

Читать о досократиках всегда приятно, даже если их идеи не являются «философскими» в современном общеупотребительном смысле слова. Как Готтлиб выразился во введении, философия тогда включала (и в какой-то степени включает и до сих пор) «естественную философию», которую мы сейчас называем наукой. Досократики имели дело главным образом с двумя таинственными вопросами, которые Софи Гаардера находит у себя в почтовом ящике – «Из чего сделан мир?» – и ответами, которые звучат столь же странно, как речь хиппи с состоянием наркотического опьянения.

Парменид, например, полагал, что вселенная представляет (по словам Готтлиба) «одну вечную, неподвижную вещь, которая полна и неделима», и что ничего не движется, или рождается, или умирает. (Неудивительно, что Зенон, автор одного из знаменитых парадоксов, «доказывающий» невозможность того, что вы можете пересечь комнату, был учеником Парменида. Если вы, как и я, всегда находите Зенона и его парадоксы озадачивающими, Готтлиб, рассуждая на обе темы, находит легкое опровержение).

Другие досократики удивительно тесно столкнулись с фактами о физической вселенной перед тем, как столкнуться со свежими абсурдностями. Демокрит и Левкипп натолкнулись на понятие, называемое атомизмом, что все сделано из малейших невидимых частиц. Эмпедокл, изобретатель теории о четырех элементах (которая устанавливает, что все представляет смесь воздуха, земли, огня и воды), был достаточно остроумен, чтобы осознать, что волосы, перья и че-

шья – это одно и то же. Еще более примечательно, что он сказал «эти создания обязаны своим полезным и удачным свойствам тому факту, что сначала было много видов созданий, и что странные и уродливые не сумели выжить, потому что не были приспособлены к этому, и остались только хорошо приспособленные создания, которые воспроизводили свой род и заселили землю.» Дарвин сам признавал, что эта идея была намеком к его теории естественного отбора, даже если античный философ воображал неселектированное животное царство как психоделический в духе Иеронима Босха зверинец «лиц без шей, рук без плеч, и глаз, которым нужен лоб».

Независимо от того, были ли они мистиками типа Пифагора, который верил, что все числа имеют духовные свойства, или же механицистами, типа Демокрита, который отверг понятие жизни после смерти и считал вселенную «огромной, неограниченной и неличностной», досократики, судя по всему, не предлагали каких-то моральных или этических прозрений в отношении того, как жить. Они служат более впечатляющей демонстрацией человеческого ума, стремящегося к более широкому, глубокому и истинному пониманию мира вопреки недостатку конкретных знаний и средств получения их. Немного было вещей, которые представляли ценность для досократиков, о чем говорит их склонность к мышлению, что видно из знаменитого изречения Демокрита, что он предпочел бы найти хоть одно истинное объяснение, чем быть царем Персии.

То, что мы называем философией сейчас, начинается с Сократа: рассуждения о добре и зле, природа таких абстракций как справедливость и красота, и попытки определить такие обыденные вещи как дружба – все эти вещи рассмотрены Филиппсом в *Кафе Сократа*. А проект Готтлиба входит в полную силу при рассмотрении двух гигантов – Платона и Аристотеля. Явным предшественником книги *Мечта о разуме* является классическая *История западной философии* Рассела, из громадной тени которой должна выползти книга Готтлиба. Поскольку книга Рассела соединяет в себе огромную эрудицию с обильным числом прозрачных пассажей, читаемых с удовольствием, и так как число читателей для двух таких массивных книг по философской истории не может быть слишком большим, Готтлиб должен вытеснить конкурента.

Так что же за проблема с *Историей* Рассела? В конце концов, прошло 55 лет, но с другой стороны увеличилось ли наше знание философии до Просвещения? Да, Рассел своеволен, но как раз это и дела-

ет чтение *Истории западной философии* удовольствием, да и Готтлиб сам не очень-то избегает своеволия. Именно это своеволие делает необходимым публикацию книги Готтлиба, потому что даже если книга Рассела и информативна и восхитительна, она все же решительно устарела.

Мы на Западе живем в примечательное время, которое соединяет в себе безжалостный рационализированный подход к обществу свободного рынка с романтическим подходом в отношении интимных отношений. Лично мы хотим верить, что интенсивное чувство есть наивысшая истина, в то время как политически мы все больше погружаемся в непреклонную этику капитализма, поддерживаемого научным рационализмом, которая стала единственной вещью, которую все предпочитают верить. Это ужаснуло бы древних греков, которые как правило полагали, что страсти должны быть умерены мудростью, и что гражданская любовь существует на более высоком уровне, чем любовь к телу другого человека или к его душе. Но даже в начале XX века мыслители типа Рассела, если можно считать его *Историю* подтверждением этого, смотрели бы на наше время, и вероятно, даже на элегантно написанную книгу Готтлиба, в отчаянии – не только за прославление личных эмоций, но и за безразличие к публичным.

Готтлиб, например, занимает гораздо более жесткую позицию по отношению к видному неоплатонистскому мыслителю Плотину, чем Рассел, который пишет о философе, что «подобно Спинозе, он обладает определенной нравственной чистотой и возвышенностью, которая производит глубокое впечатление. Он всегда искренен, никогда не бывает резок или строг, неизменно старается рассказать читателю так просто, как только возможно, о том, что как он верит, является важным» Что бы ни думали о нем как о философе-теоретике, – не любить его как человека просто невозможно». Но Готтлиб не чувствует угрызений совести, когда пишет: «мистически настроенная мысль Плотина ознаменовала новый этап греческой философии, который состоит в отходе от разума и впадении в оккультизм». Он останавливается как раз там, где начинает Плотин.

С другой стороны, Готтлиб прославляет Аристотеля, об этике которого Рассел говорит так: «человек, который имеет глубокие чувства, не может чувствовать в ней ничего, кроме отторжения». Рассел полагал, что Аристотель стоял на глиняных ногах. А для Готтлиба Аристотель представляет самое лучшее, что было в античной философии, по-

тому что он был прото-научным. Готтлиб не возражает Расселу, говорящему, что «этика Аристотеля показывает полное отсутствие милосердия или филантропии». Вместо этого, он протестует против обвинения Бэкона в адрес Аристотеля, что «тот привычно игнорирует факты и отбрасывает наблюдения, из-за своей слепой приверженности приготовленным им теориям».

Ясно, какой из аспектов дисциплины считается наиболее важным в *Мечте о разуме*; лучше обладать практическим темпераментом «великого ученого» – как убедительно аргументирует Готтлиб, таковым был Аристотель, вопреки многим знаменитым философским ошибкам, чем преследовать моральное видение, или хуже того, духовное. В глазах Готтлиба Аристотель падает, когда он, запутавшись в хитро-сплетениях по поводу причины движения небесных тел, постулировал существование «неподвижного движителя», или Бога. Но как торопится пояснить Готтлиб, что бы ни означал Бог Аристотеля, это было «минимальное из всех верховных существ». (Фью!!! Весьма близкое!). Платон мог «хотеть обращаться с другими как с детьми», в его желании установит идеальную республику (справедливое замечание), но Аристотель, как образцовый человек, не использовал абстракций и предпочитал засучить рукава и разделать акулу.

Рассел, либеральный пацифист (который, надо отдать должное, не доверял коммунизму с самого начала) и агностик, без сомнения, нашел бы историю Готтлиба лишеной чувства, но в холодном, голубом свете технократического века Рассел кажется озадачивающе идеалистически настроенным в отношении правительства в то время, когда все поддались фатализму капитала. Теперь дело за вами: что вы предпочитаете – историю Готтлиба медленного, запинаящегося, но неизбежного триумфа научного мышления, или же расселовское устарелое представление о том, что философия существует в «ничьей территории» между наукой и религией, и найти способ спасти обеих.

Ничего этого нет в том, что Кристофер Филипс защищает в *Кафе Сократа*. При всем притом, что намерения автора столь похвальные, что его воздействие на людей, для которых он обсуждает такие темы как «Что есть дом?» «Можете ли вы быть слишком любопытны?» очень благотворно, кажется неблагодарным указать на то обстоятельство, что все это мало имеет отношение к Сократу. Систематическое, пронизательное вопрошание Сократа в беседе со своим собеседником в данном диалоге было предназначено для того, чтобы избавиться от покровов обыденного мышления и вскрыть не подвергаемые

сомнению предпосылки убеждений человека. Типичное сократическое кафе включает различных людей, представляющих свои идеи группе, временами возражающими друг другу или копающими глубже по подсказке Филиппа, но всегда кончающееся с признанием интеллектуальных различий каждого и заключением Филиппа «тут есть о чем подумать».

Это восхитительно, но не представляет увлекательного чтения, особенно когда сам Филипп – который выглядит просто великолепным парнем, посещающим тюрьмы, школы и дома отдыха, ведет свои беседы и никогда не берет ни цента – ну не потрясающий ли писатель? Книга полна тошнотворных клише занимательной литературы, таких как пассажи типа второразрядного щебетанья «Я думаю, что Сократ это тот человек, который не боится задавать вопросы даже тогда, когда все хотят, чтобы он замолчал». (Не могу сдержать удивления при мысли, что мысль ребенка «Я знаю, кто ты, но знаю ли я, кто я такой?» мог бы быть одним из таких вопросов). Для целевой аудитории – которая представляется основательной, здравомыслящей публикой, людей, которые слишком хороши чтобы существовать с такими занудными циниками как я – эта книга нащупывает уязвимое место и инспирирует много плодотворных дискуссий. Такие люди никогда даже не спросят себя самих, почему писатели со склонностью к слову «энергичный» неизменно пишут прозу, которая таковой не является.

Это вновь возвращает меня к Расселу: в то время как *Кафе Сократа* может дать искателям философии шанс хвастать по поводу своих теорий о смысле жизни перед сотоварищами, некоторые из нас хотели бы получить наши метафизические подачи от истинно замечательных умов. В *Кафе Сократа* нет необходимости напрягать мозги, ну а Рассел, даже когда он является снобом, способен зажигать синапсы нашего мозга. Вот его мнение об описании Ксенофоном Сократа (единственное существенное помимо платоновского):

Существовала тенденция считать, будто все, что говорит Ксенофонт, должно быть правильно, потому что ему не хватало ума чтобы думать о чем-то неправильном. Эта линия аргументации совершенно неосновательна. Перескажешь глупым человеком того, что говорит умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что он слышит, в то, что он может понять. Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой злейший враг, чем друг, несведущий в философии.

Чтение Рассела можно уподобить беседе с гением, долгой беседе с вином, встрече тет-а-тет. Книга Готтлиба не является такой восхитительной, однако она больше соответствует идеологии некоторых современных читателей. Он пишет так, как любимый профессор читает лекции: энергично, ясно, с обязательством, и удачные остроты высказывают в нужный момент (как когда он описывает видение Эмпедоклом космоса как «смесь физики С. Хоукинга и романтических романов Барбары Картленд»). Чтение книги Филлипа, увы, похоже больше на участие в месячной сессии хорошо организованной группы.

Рассел является самым умным и лучшим писателем из трех, и все же, как раскрыли недавно биографы, он был весьма плохим человеком, в частности, по части женитьбы. Готтлиб пишет отлично, так что я опасуюсь за его характер и мир его близких, в то время как Филип кажется мне преданным своей жене и службе общественному благу. Хмм. Одна из любимых теорий Сократа состоит в том, как мудрость идентична с добродетелью. Чем больше человек понимает, что такое добродетель, тем больше добродетельным он становится, потому что ни один человек не причинит сознательно вред своей душе, поступая неправильно. Не будучи сам писателем, и даже не одобряя письмо как средство передачи идей (вы не можете спрашивать напечатанную страницу), Сократ не был бы впечатлен кажущимся контрастом между литературой и интеллектуальной способностью и личной добродетелью. Он без сомнения рассматривал бы это как доказательство ненадежности привлекательной риторики, чем ударом по собственной теории; писать хорошо о мудрости, вероятно, сказал бы он, это вовсе не делает человека мудрым. Вероятно, термин «софистика» был бы тут уместен. Как выразился Филлип, «Тут есть о чем подумать».